

«ПО ЗДЕШНЕМУ СЧАСТЬЮ СПЕЦИАЛИСТ»

(об Александре Кушнере)

Есть стихи, которые просто читаешь, и есть такие, с которыми живешь. С которыми можно, как выразился Бродский, «более-менее прожить жизнь». (Как писала Цветаева Пастернаку: «Я живу с твоей душой...») Стихи Александра Кушнера для меня как раз из таких. Я открыла его для себя в 1988 году, когда к нам в клуб по нашему с Давидом приглашению приехал дуэт «Верлен» (Вера Евушкина и Лена Фролова) со своей новой бардовской программой. Одна из песен была на стихи Кушнера, которая сразу чем-то зацепила и запомнилась. Она называлась «Письмо».

Человек привыкает
Ко всему, ко всему.
Каждый год получает
По письму, по письму.

Это в белом конверте
Ему пишет зима.
Обещанье бессмертья –
Содержанье письма.

Как красив ее почерк –
Не сказать никому.
Он читает листочек
И не верит ему.

Зимним холодом дышит
У реки, у пруда
И в ответ ей не пишет
Никогда, никогда...

Меня поразила глубокая философская мысль, облеченная в непритязательную форму. Природа пишет нам письма на своем языке, письма, обещающие бессмертие. Умеем ли мы их читать? Понимать ее язык? Чем отвечаем на эти письма зимы, весны, лета? Есть ли нам, чем ответить? У меня даже возникли тогда строчки, как бы в ответ кушнеровским:

Мне пишет природа волной на песке,
Чернилами рос на зеленом листке,
Размашистым почерком вьюги шальной
И азбукой Морзе капли хмельной.
Как яблоко падает в руки само,
По адресу сердца слетает письмо.
На небе бумажном – заката печать.
И стыдно, и страшно ему отвечать.

Одна из книг Кушнера так и называлась: «Письмо». То есть исповедь, признание, сообщение сердца – сердцу, способ доверительной связи. И стихи это название оправдывали. Одно из них меня просто околдовало. Я влюбилась в это стихотворение с первого взгляда, повторяла несколько дней кряду, как сомнамбула:

Конверт какой-то странный, странный,
Как будто даже самодельный,
И штемпель смазанный, туманный,
С пометкой давности недельной,
И марка странная, пустая,
Размытый образ захохотавшая:
Ни президента Уругвая,
Ни Темзы – так, какой-то кустик.
И буква к букве так теснятся,
Что почерк явно засекречен.
Внизу, как можно догадаться,
Обратный адрес не помечен.
Тихонько рву конверт по краю
И на листе бумаги плотном
С трудом по-русски разбираю
Слова в смятенье безотчетном.
«Мы здесь собрались кругом тесным
Тебя заверить в знак вниманья
В размытом нашем, повсеместном
Ослабленном существованье.
Когда ночами (бред какой-то!)
Воюет ветер с темным садом,
О всех не скажем – но с тобой-то,
Молчи, не вздрагивай, – мы рядом.
Не спи же, вглядывайся зорче,
Нас различай по одиночке».
И дальше почерк неразборчив,
Я пропускаю две-три строчки.
«Прощай! Чернила наши блеклы,
А почта наша ненадежна.
И так в саду листва намочла,
Что шага сделать невозможно».

Письмо-сновидение, письмо-призрак, что-то из области «дневных снов» (так называется одна из кушнеровских книжек). Кто-то неуловимый, ускользающий, как тень, как дух, посылает поэту биотоки своей любви, родства, понимания, хочет заверить, что они здесь, с ним, рядом – те, для кого он пишет, творит, живет. Да, они – «в размытом, ослабленном существованье», они разобщены, рассеяны в пространстве и времени, не видны постороннему взгляду, но они есть, и поэт сердцем чувствует их позывные, их переключку во вселенной. Все во мне кричало: «Это я! Я одна из тех неизвестных, кто Вам писал ниоткуда, и зима, обещавшая бессмертье, которой в ответ никто не пишет, это тоже я. Услышьте меня, различите, откликнитесь!»

Эти стихи так тронули меня, что я почувствовала настоящую потребность ответить, ощутив себя одним из тех анонимных единомышленников поэта. Письмо получилось в стихах (привожу только его начало):

Пишу в смятенье безотчетном,
В пространство, в воздух законный,

Не удержавшись от полета
За Вами ласточкой с балкона.

Не знаю, где письмо отыщет –
В подпольном вашем комитете,
Там, где ветра Олимпа свищут,
На этом ли, на том ли свете?

О Муз небесных мафиози,
Мне Ваши песни стали сниться.
Пишу, дрожа, как на морозе,
Сообщница и ученица.

От строчек – аромат лаванды...
Я ими брежу, как Кассандра.
Ношу в себе, как контрабанду,
Евангелие от Александра.

Хотела послать анонимно, в духе того кушнеровского стихотворения, чтоб не разрушать ауру сновиденного, но желание, чтобы поэт смог нас «различать по одиночке» пересилило, и я сопроводила стихи письмом. Через месяц пришел ответ от поэта: «Дорогая Наташа, спасибо за стихи и письмо, воистину «и нам сочувствие дается, как нам дается благодать». Ваш живой и такой талантливый отклик на стихи дорожке всех критических похвал... Дар понимания поэзии – редкий дар, и все-таки он встречается, и Ваше письмо – драгоценное тому подтверждение. Еще раз – спасибо!.. Ваш Александр Кушнер». А через какое-то время я прочла в его новой подборке стихотворение, от которого радостно екнуло сердце. Может быть, это самонадеянно, но мне показалось, что оно было навеяно тем моим спонтанным откликом:

Кому-то в помощь жизнь твоя.
Он вызывает ночью, где-то
Тебя из тьмы и забытья.
Благодари его за это.
И ты бы помощи просил,
Хоть слова доброго, хоть взгляда,
Да он тебя опередил.
Зато тебе кричать не надо!

Этого счастья мне хватило надолго. Год я не писала Кушнеру, упиваясь его письмом и персонально адресованными мне стихами (так мне хотелось думать). И вот снова «пригласительный билет на пир вручен» – его новая книга! Одно стихотворение совершенно меня потрясло:

В отчаянье или в беде, беде,
Кто б ни был ты, когда ты будешь в горе,
Знай: до тебя уже на сумрачной звезде
Я побывал, я стыл, я плакал в коридоре.

Чтоб не увидели, я отводил глаза.
Я признаюсь тебе в своих слезах, несчастный
Друг, кто бы ни был ты, чтоб знал ты: небеса
Уже испытаны на хриплый крик безгласный.

Не отзываются. Но видишь давний след?
Не первый ты прошел во мраке над обрывом.
Тропа проложена. Что, легче стало, нет?
Вожусь с тобой, самолюбивым.

Боже мой, ну откуда, думала я, у этого «поэта без биографии», благополучного во всех смыслах, «застегнутого на все пуговицы», – этот опыт страдания, пронзительного ощущения чужой боли, откуда этот взгляд «с печалью вековой», взгляд в самую сердцевину моей души? Это стихотворение вызвало у меня ответные строчки:

Здесь до меня он был. Он плакал в коридоре.
Мне музыка и боль души его слышна.
И, кажется, на треть укоротилось горе.
Ура, я не одна! Ура, я не одна!

Здесь до меня он был. И до сих пор онazole.
И лишь его тоской земля напоена.
Но что же мне сказать тому, кто будет после?
Увы, я не одна. Увы, я не одна...

Если Блоку «мешал» писать Лев Толстой, то мне стихи Кушнера отнюдь не «мешали», а напротив, заражали и вдохновляли, хотя, может быть, и было бы правильной «кончить полной немотой», как призывал Пастернак, который, кстати, тоже не кончил. Какой Божий подарок были для меня его стихи, какое лекарство, блаженство, утешение, праздник!

Я написала Кушнеру еще одно письмо, на которое он незамедлительно откликнулся. «Спасибо за дружеское письмо, я им очень тронут и взволнован, – писал он. – Будьте здоровы. И пишите стихи, а если захочется – присылайте их мне, буду рад и обязательно отвечу». «Если захочется...» Еще бы мне не хотелось! Если бы я дала себе волю, я бы на него обрушила водопад своих стихов, исповедей, вопросов. «Вот счастье – с тобой говорить, говорить...» Но – боялась обременить, отнять лишнюю минуту его драгоценного времени. Училась сдержанности у его петербургской музыки.

Дымок от папиросы
Да ветреный канал,
Чтоб злые наши слезы
Никто не увидал.

Мне мила и близка была его строгость, старомодность – в старинном, классическом смысле этого слова, дисциплина стиха, целомудренность чувства, его душевная экология и гигиена. Стихи, конечно, растут из сора, но его «сор» был удивительно чистым и опрятным. О Кушнере часто говорили и писали как о поэте петербургской школы, «застегнутом на все пуговицы». Но иногда пуговицы предательски распахивались: «Быть нелюбимым – Боже мой! Какое счастье – быть несчастным...» «Мне кажется, что жизнь прошла...» «Среди знакомых – ни одна не бросит в пламя денег пачку...» Аскет, чистоплюй. А в глубине души

таился бесенок. И почему-то вспоминался стойкий оловянный солдатик, бросившийся из-за любви в огонь.

Я часто читала ему стихи «в воображении», как он сам – Пастернаку:

Читать Пастернаку – одно удовольствие!
Читал я стихи ему в воображении.
Во-первых, не страшно. В своем разглагольствовании
И сам он – дитя. И широк, как все гении.

Я читала, примеряя свои вирши на его классический вкус, и это порой заканчивалось для них плачевно. Его слово о моих стихах было не просто мнение, а приговор. Но все равно хотелось его услышать. Я изредка посылала Кушнеру стихи, прося судить по «гамбургскому счету». Ответы и оценки были сдержанно-благожелательными, иногда даже комплиментарными: «Вы, конечно, лирик. Женщине труднее, чем мужчине, писать лирические стихи – слишком просто вступить в колею, проложенную Ахматовой. Но Вам удастся быть самостоятельной». «Неделю провел в Москве на «форуме» молодых поэтов, вел семинар. К сожалению, талантливых поэтов очень мало... Ваши стихи мне понравились куда больше – даже сравнивать нельзя с тем, что приходилось читать в Москве». Я ломала голову над каждой подобной фразой, пытаюсь доискаться, что здесь от вежливости, а что от истины. Мне не давала покоя одна его стихотворная строчка: «Но на беду/ вежливость с детства была внушена мне». Эта «вежливость» стала моим кошмаром. Она мешала мне поверить до конца его словам, мешала поверить в себя.

Кушнер признавался, что не умеет и не любит писать письма. «Простите, что пишу и зачеркиваю случайно подвернувшиеся под руку слова, но, может быть, таким образом письмо сохраняет сбои и неловкости устной речи, – и возникает ощущение, что я говорю с Вами, а не пишу Вам, – письменную речь я недолюбливаю». «Эпистолярный жанр для меня труден; по-видимому, с годами теряешь способность сказать что-то важное и оригинальное, письмо оказывается набором штампов и банальностей. А может быть, стихи – это и есть письма, письма в никуда, безадресные...» Но его стихотворные «письма» были очень даже «адресные», они попадали точно по адресу – в самое сердце. Однако и «эпистолярные» его письма были мне очень дороги. И совершенно напрасно Кушнер «одергивал» себя, поймав на неудачном обороте или каких-то там «штампах и банальностях», – я ничего этого не видела, так как читала эти письма не как филолог-буквоед, а как ослепшая от счастья их получения, и каждая его строчка была для меня не грамматическим предложением, а нитью Ариадны, ведущей в волшебный мир творчества.

Я обещала Кушнеру не обижаться, если он не ответит, ибо его поэзия «так прекрасна сама по себе, что большего счастья не надо». (Как писал он в другом стихотворении: «Обнимаю тебя. Одиссей. Отвечать мне не надо»./ «Какое счастье – ждать письма по месяцам – и не дожидаться...») Но еще большее счастье – дожидаться! Каждое его письмо было для меня больше, чем письмо. Будто это не просто строчки, а некое сцепление сил мироздания, таких, как Бог, природа, звезды, вечность. «Там не будет обыденных отношений», – писал Кушнер в одном из стихотворений.

То есть там, где нам назначают встречи,
Эти встречи такую же дарят радость,
Как звучащая здесь в стихотворной речи
Окрыленность, – так можно сказать? Крылатость.

Эти строки были о другом, о потустороннем мире, но для меня они были и об этом тоже.

Я старалась сдерживать свои восторги и метафизические ассоциации в письмах, зная нелюбовь Кушнера к символизму с его «эксплуатацией высоких тем» и недоверие ко всякого рода «нутряному лиризму» с его эмоциональной расхристанностью и душевным анархизмом. Поэзия Кушнера не знает абстракций, это поэт точной мысли.

...Видишь, я рад перерыть,
Перетряхнуть наш словарь, выбирая
Определения. Господи, быть
Точным и пристальным – радость какая!

Он ищет математически точного, наиточнейшего слова, которое бы, как винт, вошло в нарезку мысли.

Черты случайные сотру.
Свою внимательность утворю.

Он действительно стирает случайные черты, выбирает лучшее, очищает, приводит в гармоническое равновесие.

И я усилием привычным
Вернуть стараюсь красоту
Домам и скверам безразличным
И пешеходам на мосту.

С предубеждением относясь к бурному выплеску чувств, романтическому туману, надрыву, Кушнер и в моих стихах отмечал как самое достойное похвалы – точность слова. «Главное, Вы в большинстве случаев точны, зорко видите вещи...» (Из письма от 23 окт. 2001 г.) «Понравилось стихотворение «Пастернак не заехал к родителям...» – в нем высказана точная мысль и по-человечески верное недоумение, которое делает эти стихи очень достоверными...» (31 мая 2002 г.) И там же: «Больше всего мне понравилось стихотворение «Неграмотно, неопытно живу...» – из газетной подборки. В нем Вам удалось найти наиболее точные, самые необходимые слова для передачи лирического чувства: «во что мне эта роскошь обойдется» – очень хорошо. И еще безусловная удача – второе стихотворение в «цветаевском» цикле («Всю жизнь напролет пролюбила не тех...» – Н. К.) – здесь тоже все слова верно найдены и нет ничего лишнего».

«Из присланных Вами стихов отметил как лучшее – «О сирень четырехстопная...» В нем Вы нашли точные слова, эту сирень видишь, это наиболее оригинальное и неожиданное Ваше стихотворение...» (Из письма от 4 апреля 2004 г.)

«От тебя и хула – похвала», – писала Цветаева. Похвала Кушнера для меня очень много значила. Окрыляла, вдохновляла, вливала новые силы. Казалось, я теперь все сумею, все смогу. Но проходило какое-то время, и наркоз тех прежних лестных для меня слов уже переставал действовать. Начинал точить червь сомнения, что, может быть, это всего лишь «жалкий, засохший листочек, показавшийся бабочкою под рукой», как писал он в одном из своих стихотворений. И я снова посылала ему свои стихи, и не могла ни есть, ни спать спокойно, пока не получала от моего Вожатого письменное подтверждение своего поэтического существования.

В одном из писем Кушнер заметил: «Мне кажется, Вы могли бы послать Ваши стихи в какой-нибудь московский журнал («Новый мир», «Знамя», альманах «Арион» и т. п.) Если бы я работал в редакции, я был бы рад таким стихам и постарался бы их напечатать». Эта фраза вызвала у меня горькую усмешку. Я посылала, и не раз, но не могла добиться, чтобы их там

хотя бы прочитали. По телефону отвечали одно и то же: «Позвоните через недельку». После третьего-четвертого звонка попытки обычно прекращала. Многие недоумевали: почему я не попрошу Кушнера о содействии? Ведь он входит в состав многих жюри, редакционных коллегий, что ему стоит замолвить словечко... Но одна мысль о том, что он может подумать о какой-то меркантильной цели моего знакомства с ним, приводила в ужас. Я не могла «кроить панталоны из холста Рафаэля», по выражению Тютчева. Кушнер был для меня тот самый холст, которым надлежит лишь любоваться, и «кроить» из которого что-либо было бы кощунственно и преступно. Для меня гораздо важнее были его оценки, советы, которые очень помогали в работе над стихом.

Все знание о стихах – в руках пяти-шести,
Быть может, десяти людей на этом свете.
В ладонях берегут, несут его в горсти.
Вот мафия, и я в подпольном комитете
Как будто состою.

Как-то я поделилась с Кушнером одним литературным наблюдением. Я тогда прочла поэму И. Елагина «Нью-Йорк – Питсбург», и меня поразило, что, оказывается, стихи можно писать не только по какому-то весоному внутреннему поводу, когда уже – «не могу молчать», а просто так – описывать, что видишь, что делаешь, жизнь вокруг себя, друзей, знакомых, и это тем не менее поэзия. Меня привлекла моцартианская легкость, пушкинская непринужденность, с какой это делалось Елагиным, и показалось (признак настоящих стихов), что я тоже так смогу. И вот что у меня получилось (экспромт в чистом виде):

Попробую вести дневник в стихах.
Сегодня день был прожит мной – не ах!
С собакою гуляла до аптеки,
Прокручивая строчки в голове,
Пыталась дозвониться до ТВ
И суп мясной варила – в кои веки!

Давид ушел платить за свет, за газ,
Я накрутила волосы как раз,
А после, холодильник разморозив,
Засела за Елагина стихи,
Всей прочей чепухи и шелухи
Ненужный сор решительно отбросив.

Стихи растут из сора, спору нет,
Но сорняки задушат первоцвет,
Когда их не пропалывать усердно.
Звонил Амосин – не пойму к чему.
Орал, что сдохнуть не дают ему,
Вопил, ругался – Боже милосердный!

Включила ящик, новости узнав.
Суп убежал на волю – мать честна!
Потом звонила Вера от Марины,
Спросила, почему письма не шлю,

Та просит передать: «я их люблю»,—
Зачем не пишем ей давно – корила.

А я письмо отправила вчера...
Протерла пол, плиту et cetera.
На что уходит жизнь – о блин! – поэта.
И не дождусь, как призовет в полон
Меня к священной жертве Аполлон
Черкать блокнот до утреннего света.

Вообще-то такие стихи можно, конечно, писать километрами. Но стоит ли? Или просто прибегать к этому способу для тренировки пера, чтобы не потерять форму? Со всеми этими сомнениями и вопросами я обратилась к своему «крестному отцу», поэтическому «мафиози». И он мне ответил: «Что касается «экспромта», то первые две строфы хороши, а дальше все-таки пошло словоговорение, – следовательно, плыть по течению в стихах, наверное, не стоит. Мне больше нравятся Ваши «обдуманнные», «выстроенные», если так можно сказать, стихи...»

Кушнер был для меня непререкаемый авторитет, его советам я готова была следовать слепо, настолько доверяла его уму и вкусу. Но были случаи, когда хотелось и возразить. Так, в одном его стихотворении меня уколола строчка: «У счастливой любви не бывает стихов». Я посмела не согласиться с этим утверждением, и сделала это в стихах:

У счастливой любви не бывает стихов?
Как я счастлива Вас опровергнуть!
У меня их – как в поле цветов, как грехов,
Всяких-разных, пусть даже и скверных.

Фотовспышками строчек ловящих момент,
Передать его прелесть бессильных...
Вспоминается кстати любимый фрагмент
Из любимого старого фильма.

Там девчонка кружилась рассветной порой,
И струилась вода дождевая.
– А ведь так не бывает! – кричал ей герой.
– Нет, бывает! – смеялась. – Бывает!

Кушнер откликнулся в следующем письме: «Наиболее удачным стихотворением мне показалось последнее – с вопросом: «У счастливой любви не бывает стихов?» Я с Вами абсолютно согласен: «Бывает! Бывает!»

Кушнер сам говорит в каком-то интервью, что чужие стихи для поэта – это чаще всего повод для поэтического возражения. И нередко прибегает к этому приему:

Скучно, Гоголь, жить на этом свете!
Но повеет медом иногда
От пушистых зонтичных соцветий!
Чудно жить на свете, господа!

Кушнер утверждал в одной из статей, что поэзию понимает не более чем 1,5%

населения. В провинции этот процент, по-видимому, еще меньше. Найти подходящую для себя литературную среду – большая проблема. Кушнер, понимая, что он мне ее в какой-то степени заменяет, сочувственно писал: «Догадываюсь, что в Саратове живется нелегко, наверное, Вам не хватает литературной среды, в которой Вы, конечно, нуждаетесь и безусловно ее заслуживаете» (из письма от 31 авг. 2001 г.) «Конечно, если бы Вы жили в Москве, Вам было бы значительно легче: без литературной среды писать стихи очень трудно, почти невозможно. Я от всей души желаю Вам успеха и стойкости...» (из письма от 4 апреля 2004 г.)

Да, думала я, а если бы я жила в Петербурге, мне было бы еще «легче»: я могла бы ходить в литстудию, которую вел Кушнер с 1973 года. Дважды в месяц там собирается круг друзей, людей разных профессий, которых объединяет любовь к стихам. Читают стихи друг другу, обсуждают их по «гамбургскому счету», спорят о поэзии. Кушнер говорит, что ему самому это многое дает. Занятия проходят на Набережной Макарова в книжном центре, что рядом с Пушкинским домом. Как бы хотелось хоть на одном побывать!

А. Кушнер – один из культурнейших наших поэтов. Ф. Искандер назвал его «поэтом окультуренного человеком мира». Филолог по выучке и призванию, он брал в спутники культуру, считал ее частью своей жизни. Раньше это называлось «книжность», «литературность» или «вторичность». В 60-е годы Кушнера клеймили за это в прессе, высмеивали в журнале «Крокодил». Сейчас, слава Богу, критика поуменела.

В последнее время Кушнер часто бывает за границей. Им написан цикл стихов об Италии, Египте. В письме от 23 октября 2001 года он делился впечатлениями: «Две недели назад вернулся из поездки на Крит. Всю жизнь мечтал увидеть этот остров (миф о Тезее и Ариадне – один из самых любимых) – и вот эта детская мечта сбылась. Мы с женой провели две недели у моря, на фоне гор, в городке Платаньяс, побывали в нескольких других городах с остатками венецианских построек (несколько веков Критом владела Венеция)...»

Бродский назвал Кушнера «горацианским поэтом», продолжателем литературной традиции Квинта Горация Флакка. В его стихи запросто заходят Аристотель и Платон, Цезарь и Август.

Цезарь, Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон...
Сам собой этот перечень лег в стихотворную строчку.

* * *

Какой, Октавия, сегодня ветер сильный!
Судьбу несчастную и злую смерть твою
Мне куст истерзанный напоминает пыльный,
Хоть я и делаю вид, что не узнаю.

Как будто Тацита читала эта крона,
И вот заламывает ветви в вышине
Так, словно статую живой жены Нерона
Свалить приказано и утопить в вине.

В своей книге «Волна и камень», в многочисленных статьях Кушнер отстаивает это право художника на книжность, литературность, цитатность. Право на переключку в стихах с предшественниками и современниками (несмотря на порицательные отзывы некоторых невежественных критиков).

...Реже, реже ступай, конькобежец...
Век прошел – и чужую строку,
Как перчатку, под шорох и скрежет
Поднимаю на скользком бегу.

...Между прочим – и это открытье
веселит, – из чужого стиха
забежав с конькобежной прытью:
все в родстве-воровстве, нет греха!

Кушнер убежден, что без культуры, без чтения нет поэта. В одном из писем он, жалуясь на малоталантливость авторов, писал: «Большинство начинающих – «прирожденные нечитатели», как говорил Мандельштам. Нечитатели – следовательно, и свои стихи пишут плохо». Он видел в этом прямую зависимость.

Однажды я увидела в Доме книги только что вышедшую в Санкт-Петербургском издательстве «Искусство-СПб» книгу Лидии Гинзбург «Записные книжки. Воспоминания. Эссе» с предисловием Кушнера (ее любимого ученика) – огромный фолиант в 750 страниц с астрономической ценой на обложке. Я долго облизывалась на нее и в конце концов решила на покупку – снова живем! – причем оказалась единственной, кто отважился выложить за нее сумму в 440 рублей. Когда я выбивала чек в кассе, по магазину прокатился вздох изумления продавцов: «Купи-и-или?!» Никто этого понять был не в состоянии. Но мне такие книги были, как воздух, необходимы. Я написала потом об этом Кушнеру. Он отозвался: «Мне отрадно было узнать, что книга Л. Я. Гинзбург продается в Саратове, но, конечно, цена совершенно возмутительная, и я поражаюсь, как Вы решились ее купить. Зато не сомневаюсь, что она доставит Вам огромное удовольствие». В письмах наряду с другими пожеланиями он желал мне «прекрасного чтения», «наполненности жизни приятными для Вас людьми, книгами, событиями».

Меня всегда привлекала естественность кушнеровских стихов, насыщенность жизненными реалиями и многообразными впечатлениями. Он – счастливый человек. Поэт счастья. И это самое волшебное в нем.

Сюда – цветы, тюльпан и мак.
Бокал с вином – туда.
Скажи, ты счастлив? – Нет. – А так?
Почти. – А так? – О да!

Счастливых поэтов в России немного. Ну, Кузмин, ну, Пастернак. Все больше трагические. А Кушнер провозгласил себя «специалистом по счастью». Не слабо. Но, читая его стихи, убеждаешься в этом. Их читаешь как учебник счастья.

Посчастливилось плыть по Оке, Оке
На речном пароходе сквозь ночь, сквозь ночь,
И, представь себе, пели по всей реке
Соловьи, как в любимых стихах точь-в-точь.

Я не знал, что такое возможно, – мне
Представлялся фантазией до тех пор,
Поэтическим вымыслом, не вполне
Адекватным реальности, птичий хор.

До тех пор, но, наверное, с той поры,
Испытав потрясенье, поверил я,
Что иные, нездешние есть миры,
Что иные, загробные есть края.

И, сказать ли, еще из густых кустов
Ивняка, окаймлявших речной песок,
Долетали до слуха обрывки слов,
Женский смех, приглушенный мужской басок.

То есть голос мужской был, как мрак, басист,
И таинственной был женский смех, чем днем,
И, по здешнему счастью специалист,
Лучше ангелов я разобрался в нем.

А какой это был, я не помню, год,
И кого я в разлуке хотел забыть?
Назывался ли как-нибудь пароход,
«Композитором Скрябиным», может быть?

И на палубе, верно, была скамья,
И попутчики были – не помню их,
Только путь этот странный от соловья
К соловью, и сверканье зарниц ночных!

В чем же секрет этого умения быть счастливым? Он в непрестанном диалоге с мгновеньем. Когда нет рядом людей, Кушнер говорит с травинкой, соломинкой, цветком, звездой, с паучком на балконе, с мошкаркой под ярким фонарем. И нам хочется быть рядом с поэтом, чтобы и нам научиться быть не одинокими. Так же восхищаться, радоваться, благодарить, тянуться к свету с доверчивостью ребенка. Почти все его стихи – это молитва благодарения. Как бы полемизируя с Лермонтовым по поводу его саркастических строчек «За все, за все Тебя благодарю я...», Кушнер благодарит Его за неповторимое счастье жизни:

За что? За ночь. За яркий по контрасту
С ней белый день и тополь за углом,
За холода, как помните, за астму
Военных астр, за разоренный дом.
Какой предлог! За мглу сырых лужаек,
За отучивший жаловаться нас
Свинцовый век, за четырех хозяек,
За их глаза, за то, что Бог не спас.

За все, за все... Друзья не виноваты,
Что выбираем мы их второпях.
За тяжких бед громовые раскаты,
За шкафчик твой, что глаженьем пропах,
За тот смешок в минуту жизни злую,
За все, чем я обманут в жизни был:

За медь дубов древесную сырую
И за листву чугунную перил.

«Вы поэт нравственно здоровых ориентиров», – сказала Кушнеру в интервью Т. Бек. И он с улыбкой заметил, что назвать так себя ему мешает чувство юмора. Но, кроме смеха, это действительно так. И почему этого нужно стесняться? Когда «смеркается время» («где разводы его, бархатистая ткань и канва?»), я учусь у Кушнера искать скрытых бабочек радости («может быть, и любовь где-то здесь, только в сложенном виде?») Мне кажется, такие стихи нужно выписывать (прописывать?) людям как рецепты от всех несчастий и болезней души.

«Не жизни жаль с томительным дыханьем, – что жизнь и смерть! – а жаль того огня...» – писал его любимый Фет. А Кушнеру жаль жизни, того, как она проходит, ускользает. Он не хочет «брать тоном выше».

И за словом, на два тона
Взятым выше – смрад обмана...

Ему жалко «не этого пира и пара, а жизни – до слез». Той самой, за которую все был готов отдать Мандельштам («Я все отдам за жизнь, мне так нужна забота./ И спичка серная меня б согреть могла»), жаль ее «бестолкового трамвайного тепла». А «того огня, что в ночь идет и плачет, уходя», не жаль, ибо чем кратковременнее он, тем прекрасней, а вечный был бы, наверное, скучен.

Огонь, несущийся во тьму,
Еще прекрасней потому,
Что невозвратно.

И в то же время Кушнер не верит в конечность этой жизни. «Не бойся ничего: нет смерти, хоть убей». Он отгоняет страшные мысли:

Да что ж бояться так загробной пустоты?
Кто жили – умерли, и чем же лучше ты?

То же самоугаваривание, самогипноз, как у Миллер: «Жить легко» – говорит она, «жить радостно, сладко, чудно», – говорит он. «Жизнь прекрасна, прекрасна, прекрасна, ужасна, прекрасна». «О, до чего ж эта жизнь хороша и сладка...» Жизнепоклонник, он не жалуется «жизнененавистников»:

Жизнь бывает такой отвратительной,
Что об этом умней промолчать.
И без нас есть большие любители
Черной краской ее рисовать,
Словно в детстве их чем-то обидели,
Не любили отец их и мать.

Кушнер не приемлет трагизм, жертвенность, мысли о смерти, его душа сопротивляется, не хочет с этим примириться.

Летит на яркий свет мучительное слово,
Добытое в огне и горечи земной.
Жить надо... – в дневнике есть запись у Толстого, –
Как если б умирал ребенок за стеной.
Жить надо на краю... чего? Беды, обрыва,
Отчаянья, любви, все время этот край
Держа перед собой. Мучительно, пытливо
Жить надо... Не могу так жить, не принуждай!

Жесту отчаянья, жесту, которым «Творцу возвращают билет», Кушнер противопоставляет другой, созидающий, восстанавливающий связи человека с миром, души с Богом. И это требует не меньшего мужества.

Ты кто, трибун, колосс,
Оратор, инвалид,
Как остеохондроз
Твой и радикулит?
Устал держать, небось,
Копье свое и щит?

Устал таскать бруски,
Железный сухостой, –
Распасться на куски,
Стать мраморной трухой,
Сном завалить виски,
Кустами и травой.

Но держатся копьем,
Но держатся щитом
И небо с воробьем,
И сад, и смысл, и дом.
Заснуть смертельным сном –
И все пойдет на слом.

Существовать, несмотря на подстерегающие страдания – это редкая удача, выпавшая на долю человека, пусть она и не может длиться вечно. «Нам пригласительный билет на пир вручен, нас просит облако дожить до юбилея». Но понимание это дается долгим и трудным опытом.

Смысл жизни – в жизни, в ней самой,
В листве, с ее подвижной тьмой,
Что нашей смуте неподвластна,
В волненье, в пенье за стеной.
Но это в юности неясно.
Лет двадцать пять должно пройти,
Душа, цепляясь по пути
За все, что высилось и висло,
Цвело и никло, дорасти
Сумеет, нехотя, до смысла.

Так медленно, недоверчиво, отвлекаемый трудностями и горем, «нехотя» учится человек радости бытия. По Кушнеру, жизнь прекрасна, сам факт жизни уже чудесен. «Обычной жизнью названное чудо».

Эта тень так прекрасна сама по себе под кустом
Волоокой сирени, что большего счастья не надо.
Куст высок, и на столик ложится пятно за пятном.
Ах, какая пятнистая, в мелких заплатках, прохлада!

Круглый мраморный столик не лед ли сумел расколоть,
И как будто излодана зимнею стужей окружность.
Эта тень так прекрасна сама по себе, что Господь
Устранился бы, верно, свою ощущая ненужность.

Кушнер живет настоящим. «Аналогий с прошлым веком не хочу как с прошлым снегом»,— пишет он. В противовес всем анафемам нынешнему веку он заявляет: «Времена не выбирают. В них живут и умирают». И в прошлых веках было много дурного и страшного: ужасы революций, истребительных войн и концлагерей, эпидемии чумы и проказы, голод и холод. Сколько людей было погублено и замучено в прошлом веке, любой из них охотно поменялся бы с нами судьбой. Нам повезло уже в том, что мы живем.

На Земле – глубокие сомненья,
Все глядит в тысячелетний мрак.
Странный миг. И все-таки везенье.
Ни за что везенье, просто так!

Надо ценить жизнь – кричит каждая его строчка, – ценить каждый ее миг. Мужество и мудрость не в том, чтобы вернуть Творцу билет, а в том, чтобы сделать жизнь интересной и радостной, реализовать в ней себя. Это трудно, особенно в России, где, кроме метафизической бездны, тебя подстерегают на каждом шагу вполне реальные пропасти и провалы, колдобины и катастрофы, где даже безмятежный сон на чистой простыне в собственном доме еще недавно был великой роскошью.

И если спишь на чистой простыне,
И если свеж и тверд пододеяльник,
И если спишь, и если в тишине
И в темноте, и сам себе начальник,
И если ночь, как сказано, нежна,
И если спишь, и если дверь входную
Закрыл на ключ, и если не слышна
Чужая речь, и музыка ночную
Не соблазняет счастьем тишину,
И не срывают с криком одеяло,
И если спишь, и если к полотну
Припав щекой, с подтеками крахмала,
С крахмальной складкой, вдавленной в висок, –
Под утюгом так высохла, на солнце? –
И если пальцев белый табунок
На простыне доверчиво пасется,

И не трясут за теплое плечо,
Не подступают с окриком и лаем,
И если спишь – чего тебе еще?
Чего еще? Мы большего не знаем.

Двадцатый век принес человеку неслыханные страдания, но и в этих испытаниях научил его дорожить жизнью, счастьем: начинаешь ценить то, что вырывают у тебя из рук. Поэтому сейчас «стыдно быть несчастливым», как говорил А. Володин. «Несчастливы только глупцы и животные», – к пониманию этой мудрости пришел в своей «каторжной норе» декабрист М. Лунин. «Нет в жизни счастья» – это формулировка уголовников, считает Кушнер, и утверждать то же самое в стихах – значит соглашаться с ними. Жизнь невечна, но и страдание преходяще, отчаянье – пройдет, боль – отпустит, надо лишь дожидаться этого праздника души.

Мне кажется, что жизнь прошла.
Остались частности, детали.
Уже сметают со стола
И чашки с блюдами убрали.
Мне кажется, что жизнь прошла.
Остались странности, повторы.
Рука на сгибе затекла,
Узоры эти, разговоры...

Мне кажется, что жизнь прошла.
Уже казалось так когда-то,
Но дверь раскрылась – то была
К знакомым гостя – стало взгляда
Не отвести и не поднять;
Беседа дрогнула, запнулась,
Потом настроилась опять,
Уже при ней, – и жизнь вернулась.

Вопреки сложившейся традиции лирики Кушнер пишет о счастливой любви. Когда в разговоре с ним Бродский посетовал, что его одолевают письмами поклонницы, и спросил, не пишут ли Кушнеру такие письма, тот ответил: «Нет. По моим стихам видно, что я люблю свою жену». С женой ему повезло. Это Елена Невзглядова, филолог, она тоже любит стихи и пишет о них. Ее научные работы об интонационной теории стиха, опубликованные в научных журналах, стали событием в отечественном литературоведении. Они женаты уже больше тридцати лет, у них взрослый сын, но стихи Кушнера, посвященные жене, по-прежнему дышат юношеским восторгом и первозданностью чувства:

Я и сегодня люблю тебя так,
Как я любил тебя в восьмидесятом...

* * *

Какое счастье, благодать
Ложиться, укрываться,
С тобою рядом засыпать,
С тобою просыпаться!

...Всю ночь в наш сон ломился гром,
Всю ночь он ждал ответа:
Какое счастье – сон вдвоем,
Кто нам позволил это?

* * *

Вот счастье – с тобой говорить, говорить, говорить!
Вот радость – весь вечер, и вкрадчивой ночью, и ночью.
О, как она тянется, звездная тонкая нить,
Прошив эту тьму, эту яму волшебную, волчью!

До ближней звезды и за год не доедешь! Вдвоем
В медвежьем углу глуховатой Вселенной очнуться
В заставленной комнате с креслом и круглым столом.
О жизни. О смерти. О том, что могли разминуться.

Могли зазеваться. Подумаешь, век или два!
Могли б заглядеться на что-нибудь, попросту сбиться
С заветного счета. О радость, ты здесь, ты жива.
О, нацеловаться! А главное, наговориться!

Его счастье кажется таким безмятежным, безоблачным, таким... ветхозаветным, что ли. Как он не боится прогневать богов, вызвать их зависть? Но поэту покровительствует свой бог, «бог семейных удовольствий, мирных сценок и торжеств». («Тихо мальчика погладим, друг на друга поглядим».) Идиллия. Неужто такое возможно в наше время?

Но любовь эта тревожна. Счастливая любовь, как всякое счастье и красота, конечно, они принадлежат миру, которому присущи опасности, трудности и противоречия. Это чувство то просвечивает сквозь ткань стихов, то прямо в них названо:

Страх и трепет, страх и трепет, страх
За того, кто дорог нам и мил.
Странно жить, с улыбкой на устах,
Среди белых, среди темных крыл.

С самой жаркой, кровной стороны,
Уязвимо-близкой, дорогой –
Как мы жалки, не защищены,
Что за счастье, вечный страх какой!

...И задобрить пробую беду,
И, пугаясь тени, как во сне,
Сам ищу в потемках руку ту,
Что из мрака тянется ко мне.

Его стихи – о счастье жизни и о неутихающей за него тревоге. В них нерасторжимая связь жизнеутверждающего и трагического.

С той стороны любви, с той стороны смертельной
Тоски мерещится совсем другой узор:

Не этот гибельный, а словно акварельный,
Легко и весело бегущий на простор.

О, боль сердечная, на миг яви изнанку,
Как тополь с вывернутой на ветру листвою,
Как плащ распахнутый, как край полы, беглянку
Вдруг вынуждающий прижать пальто рукой.

Любовь, даже счастливая, это всегда – боль. Насколько проще, казалось бы, не знаящим ее, живущим налегке, свободно.

Если б жить, никого не любя!
Плащ – товарищ, другого – не надо.
Он от ветра укроет тебя,
Прорезиненной тканью скрипя,
От дождя и пытливого взгляда.

Тот свободен, кто так одинок.
Что ему телефонный звонок?
Он как хвост не трясется овечий.
Сто дверей перед ним, сто дорог,
Вавилонская башня наречий.

Где я? Кто меня сделал таким, –
Страх за ближнего, дрожь и смятенье, –
Суеверным, пугливым, как дым,
По пригоркам ползущим ночным,
Обвивающим сны и виденья?

Боже мой! Никого не любить!
Мостовыми крутыми бродить.
Не равны ли все вещи на свете?
Подвернувшийся куст теревить:
Что кудряшки, что веточки эти.

Но душа моя в рабстве своем
С каждым часом теплей, с каждым днем,
С каждой болью сердечной и страхом,
И когда-нибудь станет огнем,
И сторит, и взовьется над прахом!

Недавно я, роюсь в библиотечных каталогах в поисках литературы о Кушнере, натолкнулась на одну диссертацию о его творчестве некоего Д. Б. Пэна, научного сотрудника Ростовского университета. Она меня очень позабавила. Не удержусь, чтобы не привести небольшой фрагмент.

«Анализ лирического героя А. Кушнера

ДОСУГ. Подлинной жизнью кушнеровский герой живет в свободное от работы время, что естественно для человека, не находящего себя в отведенном ему обществом труде. Свободное же время современного горожанина ограничивается узкими рамками отпусков, выходных дней, праздников, да нескольких часов в сутки... ПРАЗДНИКИ. Скромные семейные торжества. Они изредка упоминаются, но не оказываются в центре лирических исповедей, чего нельзя сказать о каждодневных свободных часах, посвященных друзьям,

прогулкам, простым городским развлечениям... СОН. Пожалуй, больше прогулок любит поэт поспать. И это очень естественно. Эмоциональная, нервная натура, вынужденная существовать не в очень для нее благоприятной среде, должна погружаться в целебное забытие. Физиологически сон – это реакция на утомление, в том числе и социальной действительностью. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. Они незамысловаты. Досуг подчеркнуто интеллектуализирован: популярные лекции, книги, шашки. Из искусств – предпочтительней живопись, а театр вызывает скуку. Из средств массовой информации – газеты...»

Завершает всю эту мутотень многозначительная фраза: «Так художественно-социологическая информация оказывается сложно взаимосвязанной с художественно-психологической, содержание – с поэтикой». Классический пример поверки гармонии алгеброй. Впрочем, даже алгеброй эту абракадабру не назовешь. А вот что пишет этот автор о «теме любви в творчестве поэта»:

«Молодой поэт относился к любви с юношеским скепсисом: «Бог с ней, с любовью», – говорил он. Бог с ней. И все.

«Первое впечатление» вышло, когда Кушнеру было 26 лет, «Ночной дозор» – когда исполнилось тридцать. Пушкин в 26 лет пишет «Сожженное письмо», «Мой талисман», а в 30 – «На холмах Грузии», «Я Вас любил»; Лермонтов в 26 пишет «Мне грустно, потому что я тебя люблю», Фет сочинит в 30 «Шепот, робкое дыханье...» Трудно представить молодую поэзию без любви, без сильного эротического чувства, а если без любви и эротического чувства, то хотя бы без сладкого томления души.

Строгий ленинградец не знал любви. Он склонялся над микроскопом, разглядывал старинные рисунки, стремился постичь душу обыденных вещей. Знал тоску, дружбу, но любви не знал... Только перед финалом второй книги поэт приведет своего героя к любви:

Октябрь. Среди полян и просек
Стоят туманы и дожди.
Уже взаимности не просит
Любовь, лишь прячется в груди.
И мы, спокойны и печальны,
В лесах гуляем, не слышны.
И наши маленькие тайны
Одной большой окружены.

Здесь нет никакого чувственного огня. Спокойствие и печаль. Холод и некоторая анемичность. Любовь эта, как пишет А. Кушнер, не просит взаимности. Но может ли любовь не просить взаимности? Естественно, она просит ее...»

И так все 60 страниц текста. Меня передергивало, когда я читала эту безапелляционную глупость. Работа, между прочим, печаталась «по решению редакционной комиссии по филологическим наукам РИСО РГУ», а в аннотации сказано: «В работе впервые в советском литературоведении исследуется творчество видного современного поэта А. Кушнера. Предлагается оригинальная концепция поэзии литературоведческого эссе... Автор так по-школярски старателен, дотошен, зануден в своем «разборе», что невольно теряешься, думая, – ну как объяснить такому, что его на пушечный выстрел нельзя подпускать к поэзии, что любое его прикосновение к этой тонкой материи – как тронуть за крыло бабочку, как «музыку – руками» – убийственно для нее, все разрушает, приземляет, упрощает, опошляет. Зачем нужны такие работы? По-моему, они не только никому не нужны, они вредны. Прочтя такой опус, вряд ли кто захочет открыть книги поэта.

А любовь «строгий ленинградец» знал, и не только взаимную, но и «несчастную», до того, как встретился с Еленой. И эти стихи – самые пронзительные в его сборниках. Как Пэн умудрился их не заметить? Не понять?

Прощай, любовь!
Прощай, любовь, была ты мукой.
Платочек белый приготовь
Перед разлукой
И вытужь, и скомкай вновь.

... Твоей руки,
Твоей руки рукой коснуться
Казалось счастьем, вопреки
Всем сексуальным революциям.
Прощай. Мы станем старики.

У нас в стране.
У нас в стране при всех обидах
То хорошо, что ветвь в окне,
И вздох, и выдох,
И боль, и просто жизнь – в цене.

А нам с тобой,
А нам с тобой вдвоем дышалось
Вольней, и общею судьбой
Вся эта даль и ширь казалась –
Не только чай и час ночной.

Отныне – врозь.
Припоминаю шаг твой встречный
И хвостик заячий волос.
На волос был от жизни вечной,
Но – сорвалось!..

Даже в страдании – счастье. Лишь бы душа была жива.

Быть нелюбимым! Боже мой!
Какое счастье быть несчастным!
Идти под дождиком домой
С лицом потерянным и красным.

Какая мука, благодать
Сидеть с закушенной губою,
Раз десять на день умирать
И говорить с самим собою.

Какая жизнь – сходить с ума!
Как тень, по комнате шататься!
Какое счастье – ждать письма
По месяцам – и не дождаться.

Кто нам сказал, что мир у ног
Лежит в слезах, на все согласен?
Он равнодушен и жесток,
Зато воистину прекрасен.

Что с горем делать мне моим?
Спи. С головой в ночи укройся.
Когда б я не был счастлив им,
Я б разлюбил тебя. Не бойся!

* * *

...Любил – и стоял к механизму пружин
Земных и небесных так близко, как позже
Уже не случилось; не знание причин,
А знание причуд; не топтанье в прихожей,
А пропуск в покои, где кресло и ложе.

Любил – и, наверное, тоже любим
Был, то есть отвержен, отмечен, замучен.
Какой это труд и надрыв – молодым
Быть; старым и все это вынесшим – лучше.
Завидовал птицам и тварям лесным.

Любил – и теперь еще... нет, ничего
Подобного больше, теперь – все в порядке,
Вот сны еще только не знают того,
Что мы пробудились, и любят загадки:
Завесы, и шторы, и сборки, и складки.

Любил... О, когда это было? Забыл.
Давно. Словно в жизни другой или веке
Другом, и теперь ни за что этот пыл
Понять невозможно и мокрые веки:
Ну что тут такого, любил – и любил.

Каких только задач мы не ставим перед поэзией! Она должна и воспитывать читателя, и вести его за собой, и бичевать недостатки, и «жечь глаголом», отражать, откликаться, призывать, воспевать... Но забываем самое главное. Поэзия – это наша память о том, какой бывает жизнь в лучшие свои минуты.

Придешь домой, шурша плащом,
Стирая дождь со щек.
Таинственна ли жизнь еще?
Таинственна еще.

Поэзия – это аккумулятор счастья, сгусток энергии, ее накопитель. Эту энергию поэт вложил в свои стихи, и мы получаем ее спустя много лет из стихотворных строк.

А. Кушнер не знает, что такое творческий кризис, простой, муки творчества. Он не понимает слов Блока: «Для одних ты и Муза, и чудо, для меня ты – мученье и ад». Считает, что Блок написал их для красного словца. Для него писание стихов – это абсолютно счастливое времяпрепровождение. В письме от 4 апреля 2004-го он писал мне: «Может быть, эти замечания Вам пригодятся в Вашей дальнейшей работе. Впрочем, «работа» – не вполне удачное слово, ведь стихи – это радость прежде всего. Пусть ее будет у Вас как можно больше!» И я с ним совершенно согласна, стихи – это радость. Мир подробен, детален, пестр, неожидан, и поэзия разлита в нем, включена в него повсеместно. Кушнер пишет: «Не надо ничего выдумывать, жизнь фантастична!» Стихи – из жизни и о жизни, а поэзия, возникнув на ее почве – «явление иной, прекрасной жизни где-то по соседству с привычной нам, земной», «пятая стихия», духовный космос.

Кушнер – поэт текущей жизни. Он утверждает именно сей миг, сей час, сей день, пытаюсь уловить его вкус и смысл. В его стихах теснятся вещи, пейзажи, мелочи жизни. Сколько тут всякого сора!

Сентябрь выметает широкой метлой
Жучков, паучков с паутиной сквозной,
Истерзанных бабочек, ссохшихся ос,
На сломанных крыльях разбитых стрекоз,
Их круглые линзы, бинокли, очки,
Чешуйки, распорки, густую пыльцу,
Их усики, лапки, зацепки, крючки,
Оборки, которые были к лицу...

Все это – «счастья неприбранный вид». Такая поэзия помогает нам воспринимать жизнь не только умом и воображением, но и глазами, кожей, слухом, всеми органами чувств. Мы ведь живем как слепоглухонемые, не умеем ощущать в повседневности это «жизнью названное чудо».

Мандельштам приедет с шубой,
А Кузмин с той самой шапкой...

Я бы сказала ему в тон: «А Кушнер – с лупой». Кушнер поразительно наблюдателен. Он словно инвентаризирует подробную прелесть мира. Мне нравится эта его микроскопическая пристальность, любовное разглядывание предметов и постижение их скрытой сущности. Он расширяет и отвоевывает для поэзии вещи, никогда прежде не входившие в круг поэтических тем, постоянно осваивает новые, непривычные для поэзии лирические сюжеты.

А ствол у тополя густой листвой оброс,
Весь, снизу доверху, – клубится, львиногривый,
За то, что ракурс свой я в этот мир принес
И не похожие ни на кого мотивы.
За то, что в век идей, гулявших по земле,
Как хищники во мраке,
Я скатерть белую прославил на столе
С узором призрачным, как водяные знаки.

Как он не боится включать в стихи то, что, казалось бы, им совершенно противопоказано? Вот Кушнер пишет о поездке зимой на дачу:

Не для того, чтоб в поле вырваться, –
А по причине воровства:
Забрали супницу и мыльницу,
Насос и вывезли дрова.

Как его служение муз терпит эту суету – супницы, мыльницы! Ведь поэт, казалось бы, должен быть выше всей этой прозы быта. Как там у Ахмадулиной: «Я отпускаю зонт и не смотрю, как будет он использовать свободу...» Вот истинно поэтическое поведение! Но Кушнер не хочет быть выше. «Без быта нет жизни, – говорит он в интервью, – быт и бытие – слова однокоренные. Считающий себя выше быта просто перекладывает часть своей ноши на

плечи близких, а сам идет налегке. Любить эту сторону жизни трудно, но и презирать ее глупо». Подробности быта, введенные Кушнером в стихи, делают их убедительными, достоверными. Его поэтический мир – это мир живых, одушевленных вещей, почти его самостоятельных персонажей.

Граненый столбик, простачок,
Среди других посуды
Он тем хорош, что одинок,
Такой простой сосуд!

Собрание лучей дневных!
И вот, куда ни встань,
Сверкает ярче остальных
Не та, так эта грань.

(«Стакан»)

Он видит «небо в алмазах» даже там, где его трудно предположить: например, в такой сугубо прозаической вещи, как домашняя пыль:

Вдоль полок палец по привычке
Скользит во власти забытья.
Как хорошо лежат частички
Таинственного бытия,
Реснички, ниточки, ворсинки...
Как нежен хаос, волокнист!

Даже нудные домашние обязанности рождают в его душе высокий восторг, непонятный нам, простым смертным:

Сторожить молоко я поставлен тобой,
Потому что оно норовит убежать...

Поэт увлеченно наблюдает за жизнью молочной поверхности:

Надувается, сердится, как же! пропасть
Так легко... сколько всхлипов, и гневных гримас,
И припухлостей... пенная, белая страсть,
Как морская волна, окатившая нас.

(Значит, молоко все-таки убежало). А как упоенно поэт моет посуду!

Тарелку мыл под быстрою струей
И все отмыть с нее хотел цветочек,
Приняв его за крошку, за сырой
Клочок еды – одной из проволочек
В ряду заминок эта тень была
Рассеянности, жизнь одолевавшей...
Смыть, смыть, стереть, добраться добела,
До сути, нам сквозь сумрак просиявшей.

Поражает это неистощимое умение изумляться привычным предметам быта, извлекать радость из малого, повседневного:

Скатерть, радость, благодать!
За обедом с проволочкой
Под столом люблю сгибать
Край ее с машинной строчкой.

Поэт видит, различает в этих простых предметах такие грани, горизонты, которые нам и не снились, они вызывают в нем бурю эмоций, ассоциаций, мыслей.

Вода в графине – чудо из чудес,
Прозрачный шар, задержанный в паденье!

Вот так из осколков повседневных впечатлений создавалась целостная картина мира в зеркале поэзии. И я, начитавшись стихов Кушнера, ловила себя на том, что у меня уже не поднимается рука бестрепетно стирать пыль, в которой вижу теперь «частички таинственного бытия», я замороженно слежу за бурной жизнью закипающего молока, после чего иступленно мою плиту, стремясь «добраться добела, до сути, нам сквозь сумрак просиявшей...» «Вот что Вы творите своими стихами!» – посетовала я в очередном письме поэту. А если серьезно – я училась видеть, слышать, чувствовать, как впервые.

Книги Кушнера скромны и негромки. Критики ругали его за «мелкотемье». Иронизировали: описывает графин с водой, стакан, вазу, сахарницу, микроскоп, школьную готовальню – нашел темы! Газетных романтиков это раздражало. Но то было не собрание мелочей, а выбор иного ракурса, поиск предметных связей с миром, попытка проявить поэтичность простой вещи, обыденной ситуации. Не все это понимали. Как-то я прочитала стихи Кушнера Амусину. Под влиянием моих восторгов он купил его книжку. Спрашиваю потом: «Ну как?» Тот пренебрежительно бросил: «Нет размаха!» В одном из писем я привела Кушнеру это «мнение», заметив, что в последнее время много встречается стихов, в которых один сплошной размах. Я не думала, что эта «критика» как-то его заденет, но, видимо, чем-то она зацепила, так как вскоре в новой подборке поэта появилось такое стихотворение:

Я не прыгун с шестом,
Чтоб прыгать метров на пять,
Аплодисментов гром
Сорвав себе на память,
И шест, как метроном,
Внизу трястись оставить.

Не чемпион лыжни,
Не рекордсмен трамплина,
Мне крики не нужны
С трибун, мне куст жасмина
Милей, и тишины
Снотворная рутина.

...Мне мериться ни с кем
При жизни не пристало.
Я не напялю шлем
Из кожи и металла.

Не гонщик я – зачем?
Не пленник пьедестала.

Мы сами по себе,
Не в зале перед рампой,
Мы на лесной тропе,
На взморье мы, за дамбой.
Прочтут нас не в толпе,
А под настольной лампой.

И вспомнят при ходьбе.

Подумать только – не было бы той дурацкой реплики Амусина и моего письма – не было бы, возможно, и этого стихотворения. «Когда б вы знали, из какого сора...»

Ему лепили ярлыки: «поэт малых вещей», «поэт оседлой жизни», «поэт дома», «певец уюта». Он сам признавался: «Неромантичны наши вкусы». Камерный мир, ограниченный семейным кругом. Мир, запертый в четырех стенах комнаты.

Комната. Скрипящая доска.
Четырехугольная тоска.

Он воспевает уют «десяти метров мирного житья». Но, кажется, это все лишь для того, чтобы заговорить боль, «четырехугольную тоску». Кажется, он прячется от жизни, от ее контрастов и бед, от ее неожиданных поворотов. Это почти детское желание, спрятав голову под подушку, обыграть, обмануть судьбу, закрыться от нее руками. Когда же поэт пробует открыть лицо, отрывает руки, то почти физически ощущаешь, как страшно ему оставаться лицом к лицу с полным трагических противоречий миром.

И голый ужас, без одежд,
Сдавлив, лишил меня движений.
Я падал в пропасть без надежд,
Без звезд и тайных утешений.
И в целом стоге под рукой,
Хоть всей спиной к нему прижаться,
Соломки не было такой,
Чтоб, ухватившись, удержаться!

Его охватывает ужас перед приметами небытия:

Я спустился в глубокий овраг,
Чтоб не грохнуться – наискосок,
Там клубился сиреневый мрак
И стеной поднимался песок.

Был он красен, и желт, и лилов,
А еще – ослепительно бел.
«Ты готов?» Я шепнул: «Не готов».
И назад оглянуться не смел.

Не готов я к такой тишине!
Не к живым, а к следам от живых!
Не к родным облакам в вышине,
А к теням мимолетным от них!

Дай мне силы подняться наверх,
Разговором меня развлеки,
Пощади. Я еще не из тех,
Для кого этот блеск – пустяки.

Приверженность к порядку, гармония и стройность и, наряду с этим, страх перед непрочностью этого порядка. При внешнем спокойствии этой поэзии в ней присутствует скрытый драматизм. «Уравновешенный безумец», как сам Кушнер назвал себя в первой книге, он не в силах удержать душу в своем любовно вылепленном, выпестованном раю:

Проснулся я. Какая сила
Меня с постели подняла?
В окне земля тревогу била
И листья поверху гнала.

Бежало все. Дубы дышали
В затылок шумным тополям.
Быстрее всех кусты бежали
По темным склонам и полям...

И, запыхавшись, ночь дышала
Трудней усталого коня.
И, как безумная, бежала
Душа, отдельно от меня.

Теперь он не просто пытается выкроить радость из материи жизни, но прикоснуться к ее тайнам, чем бы они ни грозили – бедой ли, опасностью.

Имел я, помнится, внимание к вещам...
Все это схлынуло. Стакан, графин с водой
Жизнь отодвинула как бы одной рукой.

«И разговор у нас совсем иной пошел». То есть о более глубоких слоях жизни.

Кто, кто так держит мир в узде,
Что может птенчик спать в гнезде?

* * *

В деревьях ужас нежитья
И ветра шорох с краю,
Как чей-то крик: «А как же я?»
И чей-то вздох: «Не знаю...»

Поэту с годами глубже открылась теневая сторона мира, трагическая его подоплека.

Нет, не одно, а два лица,
Два смысла, два крыла у мира.

* * *

Но силы нужны и отвага
Сидеть под таким сквозняком!
И вся-то защита – бумага
Да лампа за тесным столом.

Кушнер предлагает свой способ спастись, удержаться над бездной:

Друзья мои, держитесь за перила,
За этот куст, за живопись, за строчку,
За лучшее, что с нами в жизни было,
За сбивчивость беды и проволочку.

Он действительно поэт дома, но дома, стоящего на краю пропасти, о которой не забывает, даже занимаясь самыми обыденными делами. И неизвестно в чем больше мужества – в том, чтобы напряженно и обреченно вглядываться в бездонную мглу, или в том, чтобы, невзирая на нее, уметь радоваться простым вещам:

За дачным столиком, за столиком дощатым,
В саду за столиком, за вкопанным, сырым,
За ветхим столиком я столько раз объатым
Был светом солнечным, вечерним и дневным!

...В саду за столиком... А дело в том, что слишком
Душа привязчива... И ей в щелях стола
Все иглы дороги, и льнет к сосновым шишкам,
И склонна все отдать за толику тепла.

И такой покой, такая благодать в этом его мире «дощатых столиков», кустов жасминовых, бабочек, ласточек, что хочется, как птенчику, доверчиво «спать в гнезде» стиха и не просыпаться. «Но не тем холодным сном могилы...» У Кушнера даже сны счастливые.

Мне приснилось, что все мы сидим за столом,
В полублеск облачась, в полумрак,
И накрыт он в саду, и бутылки с вином,
И цветы, и прохлада в обнимку с теплом,
И читает стихи Пастернак.

Александр Кушнер родился в 1936 году в Ленинграде. (Живет в Калужском переулке, почти в Таврическом саду, рядом с башней Вячеслава Иванова – наверное, не случайно – в таком магическом месте!) Мать хотела видеть его врачом, отец – морской офицер – морским инженером, но сын пошел другим путем. Поступил на филфак Педагогического (в университет его не приняли, хотя он закончил школу с золотой медалью) и потом 10 лет преподавал русский язык и литературу в школе рабочей молодежи. Кушнер считает, что поэт

должен жить общей жизнью со всеми и меньше всего думать о себе как о поэте.

При всем таланте и уме
В библиотечной полутьме
Так и состаришься, друг милый.
А я на школьных сквозняках
Состарюсь, мел кроша в руках,
Втирая в доску что есть силы.

У века правильный расчет.
Он нас поглубже затолкнет,
Он знает: мы такого теста.
Туда, где ценятся слова,
Где не кружится голова.
И это, точно, наше место.

Есть поэты «с биографией», такие, как Пушкин, Лермонтов, Байрон, Бродский, и поэты без биографии (Фет, Тютчев, Анненский). Кушнер относит себя ко второй категории и благодарен судьбе, что она позволила ему заниматься любимым делом, не отвлекаясь на «биографию». «Слово «поэт» я к себе не примерял, – говорил он, – поэт – это Блок, я же жил с ощущением «человека, пишущего стихи» – это словосочетание, употреблённое Блоком в одной из его статей в отрицательном значении, казалось ему самым подходящим для себя. Любимый миф Кушнера – это эпизод в божественной карьере Аполлона, целый год принуждённого Зевсом провести в услужении у царя Адмета пастухом. Анонимность, неузнанность представляются ему более достойными поэтического дара, нежели высокомерие. В своём «Пророке» Кушнер, полемизируя с Пушкиным, встречает божественного посланца весьма иронично:

Он встал в ленинградской квартире,
расправив среди тишины
шесть крыл, из которых четыре,
я знаю, ему не нужны.

Никаких божественных откровений не даёт этот необычный визит высокого ангельского чина. Скорее, наоборот, герой доказывает гостю своё право на частную жизнь. Нет, он не будет, «обходя моря и земли, глаголом жечь сердца людей». И в груди у него не уголь, а обычное сердце.

Никакой патетики, пафоса, позы. («Впрочем, мне напыщенное слово/ не идёт, гремит оно, как жечь»). Его жизнь предстаёт перед нами в стихах в условиях прозаического быта у лампы «за тесным столом», посреди дальних командировок, сборов на дачу.

Я к друзьям загляну – и у них, и у них
те же трещины, та же борьба.
Хорошо иногда подсмотреть у других
то, что общая дарит судьба.

* * *

Другие у нас представленья и нравы.
И милая спит, и в ночной тишине
пусть ей не мешает молва обо мне.

Говоря о герое своих стихов, Кушнер представляет его себе как обычного, ничем не примечательного человека: это может быть врач, или учитель, или инженер, научный сотрудник, библиотекарь...

Всё нам Байрон, Гёте, мы как дети,
знать хотим, что думал Теккерей.
Плачет Бог, читая на том свете
жизнь незамечательных людей.

В одном из стихотворений его лирический герой скажет о себе: «Я затерян, как цифра в четвёртой графе...»

Кто тише старика,
попавшего в больницу,
в окно издалека
глядящего на птицу?

Кусты ему видны,
прижатые к киоску.
Висят на нём штаны
больничные в полоску.

Бухгалтером он был
иль стёкла мазал мелом?
Уж он и сам забыл,
каким был занят делом...

И дальний клён ему
весь виден до прожилок,
быть может, потому,
что дышит смерть в затылок.

Вдруг подведут черту
под ним, как пишут смету,
и он уже – по ту,
а дерево – по эту!

Что делать поэту, если его жизнь совсем обыкновенна? Эвакуация и дальние отзвуки войны, школа, Педагогический институт, учительство... О чём тут писать? Придумать себе жизнь героическую? Переменить её? «Сделать себе биографию?»

Но Кушнеру чужда романтическая модель поведения. Нет ничего нелепей, чем натягивать на себя чужую судьбу, как чужую шапку, считает он. Но неужели в этой обыкновенной жизни – а ею живёт большинство – вовсе нет поэзии? Кушнер и в ней чувствовал себя поэтом. В его распоряжении был материк осваиваемой им культуры. И – тот жизненный круг, в котором он вращался, тот быт и обиход, дома, улицы, в которых он пребывал. Он понимал, что они назначены ему судьбой, что тут он должен искать своё счастье, осуществлять своё человеческое призвание, просто жить. В стихотворении «Комната» он писал:

Десять метров мирного житья,
дел моих, любви моей, тревог,
форма городского бытия,
вставшая дорогам поперёк.

Кушнеру чужд романтический анархизм Цветаевой, бурный выплеск эмоций, страстей, демонстрация своей внутренней жизни:

Наваливаюсь на,
как молвила б Цвета-
ева, но мне дана
другая речь, не та,
где страсть накалена,
но спутаны цвета.

Ему претит и бардовский слёзный надрыв, всё, что – на публику, напоказ:

Ещё чего, гитара!
Засученный рукав.
Любезная отравка.
Засунь её за шкаф.

Пуускай на ней играет
Григорьев по ночам,
как это подобает
разгульным москвичам.

А мы стиху сухому
привержены с тобой.
И с честью по-другому
справляемся с бедой.

Дымок от папиросы
да ветреный канал,
чтоб злые наши слёзы
никто не увидал.

У романтического поэта, конечно, привлекательная, выигрышная позиция. Она более «поэтична», если можно так выразиться, более импонирует читателю, который в большинстве своём явно будет на стороне Цветаевой и гитары. Тем большее уважение вызывает стойкая, и, на мой взгляд, более благородная, бескомпромиссная позиция Кушнера, мужественно отстаивавшего свою правоту в споре с романтиками всех эпох:

Обратясь к романтической ветке,
поэтической ветке родной,
столько раз ради трезвости меткой
из упрямства отвергнутой мной,
я сказал бы им, братьям горячим,
как мне пусто и холодно тут!

Я не лью свои слёзы, я прячу.
Дайте плащ поносить! Не дадут.

– Надо вовремя было из комнат
на корабль трёхмачтовый взбегать,
незаметною ролью и скромной
не пленяться, обид не глотать,
надо было не чашку и блюдце
и не скатерть любить на столе,
надо было уйти, отвернуться
от всего, что любил на земле.

– Дорогие мои, не судите
так же быстро, как я вас судил,
восхищаясь безумством отплытий,
бегств и яркостью ваших чернил.
Мне казалось, что мальчик в Сургуте
или Вятке, где мглист небосвод,
пусть он мной восхищаться не будет,
повзрослеет – быть может, поймёт.

– Надо было, высокого пыла
не стесняясь, порвать эту сеть,
выйти в ночь, где пылают светила,
просиять в этой тьме и сгореть.
Ты же выбрал земные соцветья
и огонь белокрылый, дневной,
так сиди ж, оставайся в ответе
за все слёзы, весь ужас земной.

Нельзя, говоря о Кушнере, не сказать и о его отношениях с Бродским. Друзья-антиподы, приятели-соперники, их многое и связывало, и разъединяло. Они представляли собой как бы две разных модели поэтического существования. Бродский – поэт байронического склада, который жил с ощущением своей высокой миссии поэта, противостоящего толпе и мирозданию. Б. Пастернак в своей «Охранной грамоте» (1930), вспоминая 10-е годы, писал о «романтической манере», с которой он сознательно расстался – «это было понимание жизни как жизни поэта». Такое понимание жизни Кушнеру было чуждо. Когда Бродский вместе с Барышниковым выкупил у датской скульпторши свой бронзовый бюст, передав при жизни в Петербургский музей Ахматовой, Кушнер, покоробленный этим поступком, написал ироническое стихотворение:

Быть классиком – значит, стоять на шкафу
бессмысленным бюстом, топорща ключицы.
О Гоголь, во сне ль это всё, наяву?
Так чучело ставят: бекаса, сову.
Стоишь вместо птицы.

...Быть классиком – в классе со шкафа смотреть
на школьников, им и запомнится Гоголь

не странник, не праведник, даже не щеголь,
не Гоголь, а Гоголя верхняя треть...

Да, Кушнер не обладал такой богатой поэтической биографией, как Бродский. Но это не значит, что не могло быть в то время иных вариантов жизни и поведения. Кушнер не пошёл на открытый конфликт с эпохой, но и не совершал никаких ложных шагов и бесчестных поступков ради карьеры, нисколько не поступившись собой. Бессмысленно сравнивать, кто талантливей – Бродский или Кушнер. Дело не в уровне таланта – в разном понимании поэтических задач, в ориентации на разные образцы, в разных поэтических родословных. Кушнер хорошо сказал об этом в своём стихотворении, посвящённом памяти Бродского:

Я смотрел на поэта и думал: счастье,
что он пишет стихи, а не правит Римом,
потому что и то, и другое властью
называется, и под его нажимом
мы б и года не прожили – всех бы в строфы
заклучил он железные, с анжамбманом
жизни в сторону славы и катастрофы,
и, тиранам грозя, он и был тираном,
а уж мне б головы не сносить подавно
за лирический дар и любовь к предметам,
безразличным успехам его державным
и согретым решительно-мягким светом.
А в стихах его власть, с ястребиным криком
и презреньем к двуногим, ревнуя к звёздам,
забиралась мне в сердце счастливым мигом,
недоступным Калигулам или Грозным,
ослепляла меня, поднимая выше
облаков, до которых и сам охотник.
Я просил его всё-таки: тише! тише!
Мою комнату, кресло и подлокотник
отдавай, – и любил меня, и тиранил:
мне-то нравятся ласточки с голубою
тканью в ножницах, быстро стригущих дальний
край небес. Целовал меня: Бог с тобою!

В юности они были друзьями. Жили в одном городе, тусовались в одних компаниях, ходили в гости друг к другу. Как-то на день рождения Кушнера Бродский принёс вместо подарка (он всегда вместо подарков дарил стихи) прелестное шуточное стихотворение «Почти ода на 14 сентября 1970 года»:

Ничем, певец, твой юбилей
мы не отметим, кроме лести
рифмованной, поскольку вместе
давно не видим двух рублей...

Мы предпочли бы поднести
перо Монтеня, скальпель Вовси,

скальп Вознесенского, а вовсе
не оду, Господи прости...

Заканчивались стихи извинением:

Довольно, впрочем. Хватит лезть
в твою нам душу, милый Саша,
хотя она почти как наша,
но мы же обещали лезть...

В некоторых стихах Бродского тех лет встречается переключка с кушнеровскими стихами. Так, в стихотворении «Подсвечник» (1968) в последней строфе – переключка со стихом Кушнера «День рождения» 1966 года. Где-то среди стихов Бродского промелькнула строчка: «Пусть от меня Кушнер это запомнит», – какая-то шутливая угроза. Кушнер посвятил Бродскому прекрасные стихи, которые послал ему в место ссылки, в село Норинское. Сейчас уже это документ эпохи.

Уснёшь с прикушенной губой
среди мелких жуликов и пьяниц.
Заплачет ночью над тобой
Овидий, первый туняец.

Такая жгучая тоска,
что ей положена по праву
вагона жёсткая доска,
опережающая славу.

В стихах Кушнера не раз упоминается Бродский. В стихотворении «Посещение» (1975), например, слышны отголоски их поэтического спора:

Приятель мой строг,
необщей печатью отмечен,
и молод, и что ему Блок?
«Ах, маменькин этот сынок?»
– Ну, ну, отвечаю, полегче!

И в стихотворении Кушнера «В кафе», построенном на переключке с «Зимним вечером в Ялте» Бродского, звучит упоминание «рыжего друга». Стихи Бродского оказали немалое влияние на Кушнера, правда, совершенно, к счастью, не изменив его творческую манеру. В 1978 году он пишет стихотворение «Сложив крылья», навеянное стихами Бродского «Бабочка» и «На скользком кладбище».

Потом Бродский уехал. Их жизненные и творческие пути разошлись. Но Кушнер не забывает друга – навещает его родителей, принимает участие в их похоронах. В 1981 году он пишет стихотворение, обращённое к Бродскому, которое очень тронуло того:

Свет мой, зеркальце, может быть, скажет,
что за далью, за кружевом пляжей,
за рогожей еловых лесов,
за холмами, шоссе, заводскими
корпусами, волнами морскими,

чередой временных поясов,
вавилонскою сменой наречий
есть поэт, взгромоздивший на плечи
свод небесный иль большую часть
небосвода, – и мне остаётся
лишь придерживать край, ибо гнётся,
прогибается, может упасть.
А потом на Неву налетает
ветерок, и лицо его тает,
пропадает, – сквозняк виноват,
нашей северной мглой отягчённый, –
только шпиль преломлён золочённый,
только выгиб волны рыжеват.

Когда при встрече Кушнер показал Бродскому эти стихи, тот был взволнован. «Я тоже о тебе думал в те годы», – скажет он ему. Бродский дарил Кушнеру свои книги с дарственными надписями, непривычно сентиментальными в его устах: «Милому Александру от нежно любящего его Иосифа», «Саше и Лене с беспредельной нежностью».

В ноябре 1990 года был вечер Кушнера в Бостонском университете, на котором Бродский говорил вступительное слово, опубликованное позже в качестве предисловия к американской книге Кушнера. А потом... потом в их отношениях произошёл разрыв.

В одной из статей Кушнер позволил себе критически отозваться о словаре Бродского, назвав его «чрезмерно современным»: «блазнит», «жлоблюсь о Господе», «кладу на мысль о камуфляже», «это мне – как серпом по яйцам» и т. п. Бродский затаил обиду, которая позже выплеснулась в его стихе, посвященном Кушнеру, – «Письмо в оазис». Стихотворение оскорбительное, содержащее несправедливые и незаслуженные упреки поэту, я не буду его здесь цитировать. Кушнер, узнав о нём, как это водится, последним, позвонил Бродскому в Нью-Йорк и потребовал объяснений. Бродский был смущён. Сказал, что меньше всего хотел бы его обидеть. В конце концов он снял посвящение с этого стихотворения. «Скажи Сашке, чтоб не обижался, – передал он потом их общему другу Я. Гордину, – пусть напишет тоже что-нибудь такое про меня и забудет». Мир был восстановлен. Уже после смерти Бродского Кушнер напишет стихи, посвящённые его памяти:

Поскольку я завёл мобильный телефон, –
не надо кабеля и проводов не надо, –
ты позвонить бы мог, прервав загробный сон
мне из Венеции, пусть тихо, глуховато, –
ни с чьим не спутаю твой голос: тот же он,
что был, не правда ли, горячий голос брата.

По музе, городу, пускай не по судьбам,
зато по времени, по отношению к слову.
Ты рассказал бы мне, как ты скучаешь там.
Или не скучно там, и, отметя полову,
точнее видят смысл, сочувствуют слезам,
подводят лучшую, чем здесь, под жизнь основу?

Тогда мне незачем стараться: ты и так
всё знаешь в точности, как есть, без искажений,
и недруг вздорный мой смешон тебе – дурак,

с его нескладицей примет и подозрений,
и шепчешь издали мне: обмани, приляг,
как я, на век, на два, на несколько мгновений.

В этом стихотворении есть намек на некоего недруга Кушнера. Об этом мне хотелось бы рассказать поподробнее. Еще в 80-е годы критик А. Арьев писал: «Странное у Кушнера положение: ни противников, ни славы. То ли славы нет оттого, что нет противников, то ли противников нет оттого, что нет славы». Ну, что касается славы, во всяком случае, всероссийской известности, то она у поэта уже имеется. Так же, как и официальное признание: Госпремия России, Пушкинская премия фонда Альфреда (А.Тёпфера), премия «Северная пальмира». Но и противниками Бог не обидел.

Кушнер говорит, что мог бы назвать имён семь-восемь. «Как правило, это несостоявшиеся или малоодарённые поэты. Обижаться на них нельзя...» Один из самых популярных и одиозных – это критик и публицист Виктор Топоров, редактор издательства «Лимбус Пресс», который в последнее время избрал своей мишенью А. Кушнера и его жену Е. Невзглядову. «Топоров – это клинический случай», – замечает Кушнер. В одном из стихотворений он рисует его портрет:

Топорный критик с космами патлатыми,
сосущий кровь поэзии упырь,
с безумными, как у гиены, взглядами,
суёт под нос свой жёлтый нашатырь.
И нету лжи, которую б не приняли,
и клеветы, которую б на щит
не вознесли...

Помню, читая стихи Кушнера, я натолкнулась на его горькие строки о критиках, которые «не любят» и «негодуют», и о тех, кто, «нахмурясь над лучшей строкой, ничего не поймут».

Если бы всё, что прочесть о себе
мне посчастливилось, принял я близко
к сердцу, – на обе ноги при ходьбе
я бы хромал и страшной василиска
был бы, – и мытаря так не стыдят,
вора и взломщика так не бичуют.
Как же в стихах своих я виноват!
Как их не любят! И как негодуют!

Я была возмущена: «Кто посмел?!» Вертелась на уме «утешительная» строчка Лермонтова: «Но знай, что в этом есть краю один, кто понял песнь твою!» И тут же села писать письмо поэту: «Ну что Вам эти мужья Марьи Ивановны, когда Коперник, а также Гомер, Алкей, Катулл, Гораций Флакк Вас несомненно слышат и одобряют. Не говоря уже о таких, как я!»

А вскоре с одним «творением» такого «недруга» мне довелось познакомиться поближе. Прочитав в «Книжном обозрении» какой-то невнятный анонс новой книги неизвестного мне автора, я – поскольку там упоминалось имя Кушнера, а меня всё, связанное с ним, интересуется, – выписала этот роман из Санкт-Петербургского издательства «Алетейя». Прочитанное повергло меня в шок. На 800-стах страницах фолианта некто Владимир Соловьёв (не путать с журналистом НТВ) поливал Кушнера грязью. Поразил чудовищный

объём и напор злобы. Вот образчик его «критики»: «Уже за шестьдесят, хреновый для поэтов возраст, а он всё ещё выёбывается». О Лидии Гинзбург: «мелкий бес крупных габаритов», «старая толстая еврейка», «лесбиянка», «эпигонка». «Саша прилепился к ней сразу и навсегда», она его «литературно усыновила». Критик договаривается до того, что Кушнер – это её псевдоним, якобы Гинзбург сочиняет за него «вирши».

В чём же он обвиняет поэта? В том, что, в отличие от Бродского, бросившего школу, закончил её с золотой медалью и «психологию отличника» пронёс через всю жизнь. «Все его любят, все печатают». Обвиняет в благополучии, в счастливой судьбе. «Его поэзия – это профилактические указания о том, как избежать страдания, как обмануть судьбу, как остаться счастливым...» А чем это плохо? Да, судьба благоволила к Кушнеру, но он был честен и ничего дурного не делал, чтобы её задобрить.

Соловьёв мстительно вспоминает, как они играли в снежки, «и Саша всё норовил в меня попасть...» Теперь в него норовил попасть он, и уже не снежком, а здоровенным куском дерьма. Но только всё промахивался мимо цели. (Когда я читала, мне вспоминался эпизод из фильма «Коммунист», как один из стрелявших всё тыкал в героя Урбанского пистолетом в трясущейся от бессильной злобы руке, но никак не получалось убить. Вот этот дрыгающийся убийца – вылитый портрет Соловьёва). Обвиняет в зависти Бродскому, пытаясь изобразить из них то Моцарта и Сальери, то Чацкого и Молчалина, в кротком характере («цыплячьи стишки, цыплячья душа»), в антисемитизме (не хотел афишировать своё происхождение), в патриотизме, (в нежелании эмигрировать):

«Я ему протянул однажды верёвку, а он стал размахивать руками и брызгаться. – Я здесь живу, это моя родина, я её люблю! – И – на здоровье, вольному воля. Отойду подальше, а то забрызгает». Но брызгает слюной как раз этот, изрыгая свои «постулаты», как чахоточные плевки. «В строку» Кушнеру ставится и природный оптимизм, и медлительная речь, и даже маленький рост. «Он и шагает, подпрыгивая, чтобы быть выше ростом или чтобы дотянуться до рядом идущей женщины (а любит высоких, крупнокостных, больших)...» «Критик» называет его «маленьким озлобленным карлой». Если уж кто и озлоблен, так это он сам.

Соловьёва раздражает, что «Саша с Пушкиным тёзки, и фамилии их созвучны». Модель «Моцарт – Сальери», под которую неуклюже пытается подверстать критик Кушнера с Бродским, напрашивалась в отношении его самого и Кушнера, но он и на Сальери не тянет, слишком мелок и гадок.

В конце романа, словно устыдившись, Соловьёв спрашивает себя: «Не слишком ли много грехов навесил я на Сашу? Не слишком ли велика отрицательная на него нагрузка?» Лицемерно вздыхает: «Мне глубоко и бесконечно жаль Сашу» (с.260). «Мне краем сердца жалко Сашу» (с. 261). «Я гляжу в его пустые, как у трупа, глаза, и жалость застилает мне душу» (с.256). «Мне жалко моего героя – Сашу, но не его прототипа, который облучился советской славой и стал литературным импотентом». Фарисейски вопрошает: «А может быть, виноват я, потребовав от маленького поэта, чтобы он стал большим?» Да ему до этого «маленького поэта» – как до звезды небесной!

Когда издательство «Захаров» переиздало этот гнусный «Роман с эпитафиями» под более кассовым названием «Три еврея» (имеются в виду Кушнер, Бродский и сам Соловьёв), и редактор предложил Кушнеру ответить что-нибудь в предисловии, тот отказался, заметив лишь, что «от этого романа воняет». У Кушнера есть стихи про Зоила, который останется в веках только благодаря тому, что поэт прихлопнет его точным словом. Но этого дерьмописца он и прихлопывать не стал – много чести. Он не унился до полемики с этим господином, уделив ему в своих воспоминаниях о Бродском лишь несколько презрительных строк. Какой контраст между интеллигентным, выдержанным тоном статьи Кушнера и захлёбывающейся истерикой этого психопатического мемуариста! Чем больше накал извергаемой им «уничтожающей» хулы, тем очевидней высота и достоинство поэта. Не удалось ему его

замарать, никакая грязь к нему не пристала. Я написала тогда Кушнеру, чтобы он не обращал внимания на подонков («есть слово точное – «подонки»! – писала Б. Ахмадулина), ведь «мы-то знаем, кто лучший поэт», и не только мы, весь читающий мир знает. Во всяком, случае, лучшие его представители.

Я пыталась понять, чем же так насолил Кушнер этому Соловьёву, в чём причина такой патологической злобы? Зависть? Но ведь поначалу он писал о нём хвалебные рецензии. Что же развернуло его на 180 градусов? Поскольку Соловьёв писал в романе о том, как его вербовали кэгебэшники, сама собой напрашивалась мысль, что, видимо, Кушнер вольно или невольно разоблачил его связи с КГБ, из-за чего Соловьёв вынужден был уехать из Ленинграда в 70-е и до сих пор за это Кушнеру мстит. Я поделилась в письме этой гипотезой с поэтом. И вот что он мне ответил: «Что касается Соловьёва, то это, действительно, негодяй, сотрудник КГБ; однажды он мне признался в своей осведомительской деятельности – и на следующий день (мы были с ним в одной поездке в Литве) уже не смотрел мне в глаза и почти сразу стал мстить, возненавидел. Его романа я не читал, разумеется, но мне рассказывали его содержание: гнусность и ложь. И чем чернее у него я получаюсь, тем, я надеюсь, меньше доверия внушает эта стряпня. В конце 80-х он выступал, уже будучи за границей, против А.Д. Сахарова. И за границу был отпущен для провокаторской деятельности. В Ленинграде о его стукачестве знали многие – и многие пострадали. Увы, я долгое время об этом не догадывался – и он ходил в моих друзьях.

Вы всё о нём правильно поняли – и хватит об этом, – уж очень противно».
(20сент. 2001)

У Бориса Рыжего есть стихотворение «В гостях», где он описывает свой визит к Кушнеру:

– Вот «Опыты», вот «Сумерки», а вот
«Трилистник». – Достает
из шкафа книги. «Сумерки», конечно,
нам интересны более других.
«Стихи – архаика. И скоро их
не будет». Это бессердечно.

И хочется спросить: а как
же мы? Он понимает – не дурак,
но, вероятно, врать не хочет – кротко
на нас с товарищем глядит
и, улыбаясь, говорит:
– Останьтесь, у меня есть водка.

Кушнеровские строчки об «архаике» меня, помню, тоже задели, и я писала на это:

«Стихи – архаика...» Быть может,
но даже если в Лету канут, –
объятый дрожью иглокожей,
со дна их кто-нибудь достанет.

Свою книгу «Четыре десятилетия» Кушнер заканчивает так:

И третье, видимо, нельзя тысячелетье
представить с ямбами, зачем они ему?

Всё так. И мало ли, о чём могу жалеть я?
Жалей, не жалуйся, гори, сходя во тьму.

Прав ли поэт? Прав, конечно. Хотя бы потому, что поэт всегда прав. И всё же хочется верить, что третье тысячелетие не расстанется с ямбами. И порукой тому в немалой степени сам Кушнер. Потому что русский язык так создан и душа так устроена, что без стихов нам всё равно не обойтись. И я писала Кушнеру в ответ на его стихи:

Пусть даже будут в мире этом
царить духовные калеки –
поэт останется поэтом,
горя, сходя во тьму, вовеки.

В мою книгу «Письмо в пустоту» вошли письма тем, кому я не успела сказать слова любви при жизни. Ему, слава Богу, успела.